

И.Б.Ничипоров

Кризисное состояние мира в творчестве Л.Толстого рубежа XIX — XX вв.

1880-е годы традиционно рассматриваются в качестве поворотного этапа в жизни и творческой деятельности Л.Толстого. В 1877 г. он завершает работу над «Анной Карениной» и задумывается над созданием исторического романа о времени царствования Николая I. Однако уже в 1879 г. эта работа приостанавливается, Толстой переживает разочарование в художественном творчестве и обращается к созданию религиозно-философских сочинений («Исповедь», «Соединение и перевод четырех Евангелий», «Исследование догматического богословия» и др.). Радикальная переоценка ценностей и опыта прожитой жизни приведет художника к напряженному богоискательству и трагическому разрыву с Церковью.

Состав литературного наследия Толстого 1880 – 1900-х гг. весьма разнообразен. От романистики писатель переходит преимущественно, за исключением последнего романа «Воскресение» (1899), к средней и малой эпическим формам, обращается к драматургии, работает над богословскими и религиозно-философскими трактатами. Исторически значимо то, что «религиозно-философские сочинения Л.Н.Толстого... возникают на фоне глубокого духовного кризиса русского общества, главными проявлениями которого были падение авторитета Церкви и поиск новых типов религиозности» [4, 149]. Последний фактор оказывается актуальным и для зарождавшегося на рубеже веков «нового искусства», и для контекста философской мысли этого времени (В.Соловьев, Н.Федоров, Н.Бердяев, В.Розанов и др.).

Художественным выражением кризисного состояния, в котором «оказывается большинство героев поздних произведений Толстого» [3, 149], становятся сквозные мотивы ухода, мучительного переосмысления пройденного пути, деформации привычной шкалы ценностных ориентиров. Глубоко автобиографические корни имеют здесь и *вопросы семьи, брака, телесной жизни человека*, приобретающие особенно драматичное звучание для индивидуального и общественного сознания «порубежной» эпохи («Крейцера соната», «Дьявол», «Воскресение», «Власть тьмы», «Живой труп» и др.).

Широкий общественный резонанс получила *повесть «Крейцера соната» (1887 – 1889)*, с ее надрывно-исповедальным звучанием, соотношением современного бытия с евангельскими заветами, с намеченным в заглавии «параллелизмом тем искусства и нравственного падения» [5, 348], местами обнаженной публицистичностью.

Предпосланные основной части повести евангельские эпитафии содержат обличение блудной страсти (Мф. 5, 28; Мф. 19, 10, 11) и нацеливают читательское сознание на осмысление кризисных сторон современного восприятия проблемы эроса. Используя композиционную форму «рассказа в рассказе» и создавая «подобие сценической площадки» [5, 350], автор выдвигает на авансцену исповедь центрального героя – помещика, кандидата университета Позднышева. Его исповедальный монолог, парадоксальным образом сочетающий самобичевание, проповедь, обличения [5, 349], вырастает из ситуативной реплики в возникшем в вагоне поезда разговоре попутчиков о животрепещущем для общественного мнения вопросе об истинном и ложном отношении к любви и браку.

Отвлеченно-книжные императивы о любви встречают возражения Позднышева, исподволь переходящие в исповедально-проповедническое

повествование. С горечью вспоминая о юности, связанной с погружением в развратную жизнь, смысл которой заключался в «освобождении себя от нравственных отношений к женщине, с которойходишь в физическое общение»¹, Позднышев размышляет о тотальной для современного мира дехристианизации, разъятости душевно-духовного и телесного начал, повседневного жизненного опыта – и евангельских норм, все более воспринимаемых как декларативные благопожелания. Лично пережитую семейную трагедию Позднышев возводит к проявлениям *масштабного антропологического, духовного и социокультурного кризиса*, в условиях которого брак входит в круг бессодержательных светских условностей, нацеленных на подтачивание постоянства супружеских отношений. Проповеди позднего Толстого весьма созвучна и проводимая в произведении *поляризация этики и эстетики*. Измена жены Позднышева с музыкантом Трухачевским рисуется в неразрывной связи с объединявшим жену и любовника увлечением музыкой и выводит рассказчика к несколько ригористическому обобщению об искусстве, которое зачастую воплощает соблазн, торжество неподлинности, забвение нравственной самоидентификации личности.

По атмосфере напряженной исповедальности и «сценичности» «Крейцера соната» предвосхищает *рассказ «После бала» (1903)* – один из итоговых у Толстого. В основу этого «рассказа в рассказе» положены воспоминания центрального героя о юности, при этом его монолог становится, по существу, развитием внутреннего, не прекращающегося и в момент повествования диалога с собой, на что указывает характерная для Ивана Васильевича «манера отвечать на свои собственные, возникающие

¹ Тексты произведений Л.Н.Толстого приведены по изд.: Толстой Л.Н. Собр соч. в 14 т. М., ГИХЛ, 1952 – 1953.

вследствие разговора мысли». «Этически значимый случай» [5, 376] расценивается рассказчиком в качестве судьбоносного прозрения, позволяющего мыслить о бытии, опаматовавшись «после бала» поверхностной влюбленности в восемнадцатилетнюю красавицу и не менее легковесного «восторженного умиления» ее отцом – полковником, «воинским начальником типа старого служжаки николаевской выправки».

Многоплановый в поздних толстовских произведениях *сюжет «ухода» от обыденных форм бытия ради познания его сокровенного смысла* разворачивается в повести «Отец Сергей» (1890 – 1891, 1895, 1898), где, в отличие от «Крейцеровой сонаты» и «После бала», отдано предпочтение «объективному биографическому повествованию» [5, 355]. От упоения военной службой и восхищения императором Николаем Павловичем, последующего священнического и монашеского служения герой приближается к авторскому идеалу проявления подлинно Божеского начала в человеке, сумевшего полностью «опроститься» и уйти от влияния внешних, социальных условностей, обрести «согласие между индивидуальной жизнью и абсолютной нравственной истиной» [5, 355].

Линия «ухода» от освоенного жизненного пространства к взысканию абсолютной истины оказывается сквозной в судьбе главного героя повести. Началом пути становится решение известного в Петербурге 1840-х гг. князя, красавца, командира лейб-эскадрона кирасирского полка Степана Касатского отказаться от успешной государственной службы, от блестящей женитьбы, оставить имение сестре и уйти в монастырь. Автором запечатлевается психологический контраст между внешним обликом славного гвардейца и тем, как «внутри его шла сложная и напряженная работа». Уход Касатского в монастырь, где со временем он принимает постриг и священный сан, становится иеромонахом Сергием, предстает в сфере разнонаправленных

внутренних мотивировок, представляющих сплетение «истинно религиозного чувства» с уязвленным постыдными признаниями бывшей невесты честолюбием. Пребывая в удаленной от больших городов обители, толстовский герой через послушание духовнику, посредством напряженного духовного делания обретает на время «радость в достижении наибольшего как внешнего, так и внутреннего совершенства». Драматичным переворотом в его служении становится перевод в столичный монастырь, где от героя требуются титанические усилия для сопротивления многочисленным соблазнам, в том числе непреодолимой неприязни к игумену – «светскому, ловкому человеку». Симптоматичен эпизод невольной, навязанной игуменом встречи отца Сергия с прежним сослуживцем – генералом, «бывшим полковым командиром их полка». За внешне смиренными словами отца Сергия о желании навсегда отказаться от мирских связей ради того, «чтобы спастись от соблазнов», косвенно приоткрывается глубокий внутренний надрыв, который позднее выразится в *принципиально внецерковной направленности богоискательских устремлений героя.*

Новые изменения внешних условий монашеского бытия отца Сергия в виде затворнической жизни в Тамбинской пустыни связываются автором с углублением его аскетического опыта, нацеленного на преодоление соблазнов и умерщвление плотского вожделения, но вместе с тем – с прозрением онтологической непрочности собственной веры, не находящей достаточного укрепления во внешних формах подвижничества .

Источником драматизма и неизбывного одиночества Касатского в церковной среде становится непреодолимое расхождение между внутренними исканиями Божьей правды, сомнениями, разочарованиями – и отчасти навязанной ему извне «ролью» духовника, «чудотворца», к которому стекается множество людей. В логике усомнившегося отца Сергия

такое состояние дел отнюдь не отражает Высшего Промысла о его пути, но является лишь неестественным положением, в которое «поставили его архимандрит и игумен», вынудившие его стать «средством привлечения посетителей и жертвователей к монастырю», что повлекло за собой «ослабление, потухание Божеского света истины, горящего в нем». На вызревающую в сознании героя идею бегства накладывается горькая интуиция об оскудении подлинно религиозного чувства как в церковном народе, так и в нем самом, с этим народом соприкасающимся.

В системе нравственных координат повести приведшее к уходу из монастыря и «опрощению» падение отца Сергия с дебелой купеческой дочерью открыло ему – через превозмогание крайнего отчаяния и богооставленности – путь к прозрению. Возникающая в завершающей части произведения ретроспекция судьбы старой вдовы Пашеньки, которая без каких бы то ни было умственных исканий посвятила себя жертвенному служению большой семье, становится для Касатского нравственным уроком, ключом к самопознанию, импульсом к вербализации давних чаяний. В духе идеологии позднего Толстого подлинное обретение Бога радикально противопоставляется в финальных авторских размышлениях соборному опыту Церкви и трактуется как результат сугубо индивидуальных поисков «смирившегося» и бродяжничающего Касатского, который «презрел людское мнение... Чем меньше имело значение мнение людей, тем сильнее чувствовался Бог... И понемногу Бог стал проявляться в нем».

Кристаллизация Божеского начала в человеке становится ключевой темой и в *рассказе «Хозяин и работник» (1894 – 1895)*. Центральным предметом художественного исследования выступает здесь эволюция в мировосприятии купца второй гильдии Василия Андреевича Брехунова, который на протяжении долгих лет надменно «не одобрял

необразованность и глупость мужицкую» и вплоть до рокового блуждания в метели думал исключительно «о том, сколько он нажил и может еще нажить денег». Глубоко символичен эпизод, когда герой стремится обрести духовные основания своего бытия через молитву и при этом остро ощущает разрыв между прежними представлениями об обрядовой церковности – и пробуждающимися в нем теперь смутными религиозными переживаниями: «И он стал просить этого самого Николая-чудотворца, чтобы он спас его, обещал ему молебен и свечи. Но тут же он ясно, несомненно понял, что этот лик, риза, священник, молебны – все это было очень важно и нужно там, в церкви, но что здесь они ничего не могли сделать ему, что между этими свечами и молебнами и его бедственным теперешним положением нет и не может быть никакой связи». Подобного рода прозрения персонажа не остаются в отвлеченно-мыслительной сфере, но на пороге смерти получают выход в действие: он ложится на замерзающего работника, согревая его своим телом, испытывает «радостное состояние» от приближения к надсоциальному братскому человеческому единению и в сновидческом, предсмертном озарении коренным образом переоценивает пройденный путь.

Одним из наиболее ярких и художественно значимых выражений духовно-нравственных исканий позднего Толстого, его взгляда на кризисное состояние современной действительности стала *повесть «Смерть Ивана Ильича» (1884 – 1886)*.

В экспозиционной части повести автор проявляет особый интерес к познанию человеческой судьбы «под знаком смерти» и прибегает к приему композиционной инверсии, делая точкой отсчета в рассказе об Иване Ильиче скупое газетное сообщение о его кончине. С самого начала, передавая различные взгляды на произошедшее, Толстой сталкивает таинственную

значимость ухода человека из земного мира – и обыденно-прагматичное восприятие этого события. Посредством комментированного воспроизведения речей, мыслей, не до конца осознаваемых душевных движений персонажей здесь запечатлевается вольное и невольное отчуждение современного сознания от реальности смерти: «заговорили о дальности городских расстояний», «чувство радости, что умер он, а не я», догадки о том, «какое значение может иметь эта смерть на перемещения или повышения...» Лишь у одного из сослуживцев покойного сквозь соблюдение внешних ритуальных условностей на мгновение прорывается осознание подлинно страшного измерения смерти: «Ведь это сейчас, всякую минуту может наступить и для меня... Но тотчас же, он сам не знал как, ему на помощь пришла обычная мысль, что это случилось с Иваном Ильичом, а не с ним и что с ним этого случиться не должно и не может».

Со второй главы повести разворачивается основное повествование о жизненном пути Ивана Ильича. Рассказ об основных вехах служебной карьеры персонажа, об устройении им семейной жизни неслучайно выдержан в бегло-перечислительных интонациях, настраивающих на восприятие внешне заурядного, ничем не примечательного событийного фона. Zenитом служебной карьеры Ивана Ильича становится высокая должность в министерстве юстиции, позволившая обзавестись новой квартирой в Петербурге. Его энтузиазм в деле оформления этого жилища, восторженное восприятие новой обстановки исподволь развенчиваются автором, искусно, через пронизательные комментарии дистанцирующим свою позицию от привычных стереотипов социального поведения: «В сущности же было то самое, что бывает у всех не совсем богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых и потому только похожи друг на друга...»

Кульминационным событием в потаенном, не совпадающим с получением официальных регалий течении жизни становится эпизод, когда, обустроив квартиру, Иван Ильич оступился на лесенке, «боком стукнулся об ручку рамы». Это мелкое досадное происшествие оказывается символическим предвестием скорого разрушения всего заведенного порядка жизни. Против осознания этого предвестия герой инстинктивно выстраивает психологическую оборону из ободряющих самовнушений, что композиционно выражается в повести лексическими и синтаксическими повторами при характеристике общего положения дел: «Все было хорошо... Так они жили. И все шло так, не изменяясь, и все было очень хорошо».

В четвертой главе устоявшийся ритм биографического повествования нарушается уже явственным вторжением темы болезни, на глазах обесмысливающей все прежние самоуверения: «Все были здоровы. Нельзя было назвать нездоровьем то...» Ритм толстовского повествования утрачивает прежнюю «скользящую» динамику, существенно замедляется и располагает к углубленному художественному постижению закономерностей развития поразившего героя недуга – от психосоматической симптоматики к его онтологическому измерению. Начальные проявления «неловкости» влекут за собой умноженную болезнью зоркость героя к диссонансам повседневного существования.

Прозрение тотальной дисгармоничности мироустройства постепенно экстраполируется и на сферу человеческих, социальных отношений. Дискурс суда – сквозной для позднего творчества Толстого [3, 167] – постепенно вовлекает в свою орбиту раздумья персонажа о прошлой жизни («и эта мертвая служба, и эти заботы о деньгах»), вызывая ничем не заглушаемые нравственные страдания: «А что как и в самом деле вся моя жизнь, сознательная жизнь, была «не то?»» Подобно Позднышеву, отцу Сергию

Касатскому, Иван Ильич творит суд и над окружающими, действует по принципу «срывания масок», распознавая фальшь в поведении и жены («спросила о здоровье, как он видел, для того только, чтоб спросить»), и доктора («доктор знает, что это выражение здесь не годится»), и шире – в привычных моделях социальных отношений («приглядываются как к человеку, имеющему скоро опростать место»). Оправдание на этом нравственном суде получает лишь буфетный мужик Герасим, с его простой, проистекающей от полноты жизненных сил радостью, с его свободой от ложных условностей, от «выработанного» отношения к нему и его болезни.

Онтологическое измерение во внутренней эволюции пораженного смертельной болезнью персонажа актуализируется тогда, когда за стоическими попытками бороться с телесными страданиями проступает глубинное, доносимое в форме несобственно прямой речи прозрение бытийного, судьбоносного характера всего происходящего: «Нельзя было себя обманывать: что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичом, совершалось в нем». Рефлективная энергия («надо обдумать все сначала», «такой же я был, и нынче и завтра») оказывается бессильной противостоять надличностным законам бытия, но в то же время приближает Ивана Ильича к осознанию того, что «не в слепой кишке, не в почке дело, а в жизни и... смерти», к теперь уже опытному пониманию умозрительного характера знаменитого силлогизма о Кае, ибо, к ужасу толстовского героя, индивидуально-личностное оказалось невыводимым из общего («но он был не Кай и не вообще человек»). Радикальная непримиренность с конечностью земного бытия знаменует внутреннюю силу героя, его мужественное отречение от прежних стереотипов и вместе с тем так и не приводит его к обретению религиозного опыта, чувства бессмертия своей души, что оборачивается в

итоге ощущением онтологического сиротства («плакал о беспомощности своей»), безысходностью которого проникнуто предсмертное видение Ивана Ильича: «Казалось, что его с болью суют куда-то в узкий черный мешок...»

В итоговых для Толстого крупных прозаических произведениях – повести *«Хаджи-Мурат»* (1896 – 1904) и романе *«Воскресение»* (1889 – 1899) – предметом пристального художественного исследования становятся конфликтные отношения частного и общего, проявляющиеся во взаимодействии личности и системы государственной власти. В пристрастной оценке автора, даже Церковь, встроенная в условия Синодальной системы в государственный аппарат, оказывается неспособной в полной мере сохранить свой духовный авторитет, ибо «Бог через своих слуг, так же как и мирские люди, приветствовал и восхвалял Николая».

В романе *«Воскресение»* психологическое осмысление частной человеческой драмы, сопряженной с отношениями Нехлюдова и Масловой, перерастает в обобщающее видение глобального масштаба социального зла, обнаруживающего свое господство и в фиктивном, агрессивно антиличностном судопроизводстве, и в судьбах Масловой и ее сокамерниц, и в фоновом изображении иных судебных дел. Весь «сюжет... разворачивается таким образом, что личная жизнь Нехлюдова постепенно вбирает в себя все самое существенное в других людях и судьбах» [5, 359].
Ход внутренних раздумий Нехлюдова, охваченного покаянными устремлениями и наблюдающего условия жизни осужденных в пересыльных тюрьмах, зачастую перетекает в авторские публицистические отступления о заблуждениях современного общественного сознания. Отражением умонастроения позднего Толстого становятся и интуиции Нехлюдова о

вопиющем несоответствии общепризнанных гражданских норм нравственному закону.

«Начало суда, пафос суда лежит в основе всей композиции романа» [3, 168], важным проявлением чего становится и категоричный суд автора над Церковью. Стремление сохранить верность евангельским истинам, выраженное и в четырех эпитафиях, и в финале произведения, где этими истинами проникается главный герой, радикально противопоставляется у Толстого церковному сознанию. Печальную известность приобрела XXXIX глава, содержащая намеренно кощунственное изображение богослужения в острожной церкви, что послужило впоследствии одним из веских оснований отлучения писателя от Церкви. Главное православное богослужение – Божественная Литургия – у Толстого десакрализуется и трактуется исключительно в качестве обрядового церемониала, «манипуляций» и профанации молитвы, как обман народной веры. Отрицая основополагающие догматы и Таинства Церкви, автор усматривает в них лишь «бессмысленное многоглаголанье и кощунственное волхвование священников-учителей над хлебом и вином».

Религиозное учительство становится важнейшей сферой творческой деятельности позднего Толстого («Исповедь», 1879 – 1882, «В чем моя вера?», 1882 – 1886, «Царство Божие внутри вас», 1890 – 1893, «Исследование догматического богословия», 1881 и др.) и определяет автобиографический подтекст ряда поздних произведений – таких, например, как комедия *«Плоды просвещения»* (1890), где сатирически выведены впавшие в лжемистицизм московские светские круги, или незавершенная драма *«И свет во тьме светит»*.

В *«Исповеди»* Толстой подробно останавливается на основаниях своего постепенного отдаления от Православной Церкви и церковного вероучения:

«Вероучение не участвует в жизни... Если сталкиваешься с ним, то только как с внешним, не связанным с жизнью явлением»². Подлинную веру еще с молодых лет он пытался найти в идее «совершенствования» ума, воли, нравственного чувства, обращался к различным областям человеческого знания в поисках ответа на sacramентальный вопрос: «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?» Однако, по его признанию, «блуждание... в знаниях не только не вывело... из... отчаяния, но... усилило его». Он принялся «искать этого разъяснения в жизни», но вокруг себя «видел только людей, не понимавших вопроса... заглушавших вопрос пьянством жизни» и потому оглянулся «на огромные массы отживших и живущих простых, не ученых и не богатых людей», обладавших особым родом знания – верой в Бога.

Наболевшей проблемой выступает для автора повсеместное несоответствие жизни людей той вере, которая ими якобы исповедуется, поскольку «сами они утверждали свою веру не для того, чтоб ответить на тот вопрос жизни, который привел меня к вере, а для каких-то других, чуждых мне целей». Да и в самом принятом Церковью вероучении им усматривается предпосылка конфессионального разделения верующих, его отталкивают церковные Таинства, богослужения, кардинальным расхождением с Церковью становится и его неверие в Воскресение Христово, «действительность которого я не мог себе представить и понять». Толстой сопрягает подлинную «жизнь по-Божьи» с идеей аскетизма, согласно которой «нужно отречься от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым», и при этом с позиций просвещенческого рационализма создает свой «перевод» Евангелия, отвергает православные догматы о

² Текст произведения цитируется по изд.: Толстой Л.Н. Собр. соч. в 22 т. Т.16. Избранные публицистические статьи. М., Худ. лит., 1982.

Троице (за «неразумность»), об искуплении, о Божественной природе Христа, Которого он признает только Сыном Божиим, о Его Воскресении. В письменном ответе на решение Синода об отлучении его от Церкви (20 – 22 февраля 1901) Толстой дал развернутое подтверждение своей осознанной и принципиальной непринадлежности к Церкви, «искажившей», по его мнению, подлинное христианство [1, 85 — 92].

Проповедь Толстого, ставшая одним из самых заметных и влиятельных явлений на рубеже веков, соединяла религиозно-философскую направленность с ярко выраженным социальным пафосом. Значимыми для ее возникновения «субъективными факторами... стали увлечение идеями Просвещения, панморализм, гиперрационализм... «Толстовство» в широком смысле слова было русским вариантом распространенного в Европе типа христианства, питавшегося в основном из «просвещенческих источников XVIII в.» [4, 592 — 593].

В культурной и общественно-политической среде того времени идеи Толстого парадоксальным образом интерпретировались в качестве «одного из мощных революционизирующих факторов» [4, 59], «его религиозная и моральная проповедь, построенная на идее непротивления злу силой, современниками воспринималась именно как протест против государственного произвола и церковного «бюрократизма»» [4, 59]. Так, в знаменитой ленинской статье «Лев Толстой как зеркало русской революции» (1908) утверждалось, что «Толстой велик, как выразитель тех идей и настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России», что он наглядно «отразил накипевшую ненависть, созревшее стремление к лучшему, желание избавиться от прошлого – и незрелость мечтательности, политической невоспитанности, революционной мягкотелости» [2, 210, 212].

По мысли же Н.Бердяева, «русская революция являет собой своеобразное торжество толстовства. На ней отпечатлелся и русский толстовский морализм, и русская аморальность... В толстовском учении соблазняет радикальный призыв к совершенству, к совершенному исполнению закона добра. Но это толстовское совершенство потому так истребительно, так нигилистично, так враждебно всем ценностям, так несовместимо с каким бы то ни было творчеством, что это совершенство – безблагодатное» [1, 281, 287].

Таким образом, последние десятилетия творческих и религиозно-философских исканий Толстого составляют обширное, наполненное многими болезненными противоречиями смысловое поле. Его произведения, «созданные после религиозного перелома, затрагивали самые глубокие, самые заветные духовные и нравственные мотивы русской жизни, они имели особую тональность, которая в первую очередь создавалась жгучим социальным пафосом, чувством вины перед народом и необходимостью религиозного переосмысления этой вины» [4, 52]. Многие художественные открытия Толстого в сфере малой прозы получают развитие в литературе Серебряного века. Русская культура XX в., с ее многообразными поисками путей духовного обновления, по-своему, прямо или косвенно, будет откликаться и на религиозную проповедь Толстого (Д.Мережковский «Л.Толстой и Достоевский»), и на его историософские построения (статьи А.Блока, А.Белого и др.), и в целом – на таинственные перипетии последних взлетов и падений одного из завершителей классической литературной традиции (И.Бунин «Освобождение Толстого»).

Литература

1. Духовная трагедия Льва Толстого. М., Отчий дом, 1995.
2. Ленин В.И. Полн. собр. соч. в 55 т. Т.17. М., Изд-во политич. лит-ры, 1976.

3. Маймин Е.А. Лев Толстой. М., Наука, 1978.
4. Ореханов Г., священник. Русская Православная Церковь и Л.Н.Толстой: конфликт глазами современников: монография. М., ПСТГУ, 2010.
5. Тмарченко Н.Д. Лев Толстой // Русская литература рубежа веков (1890-е –